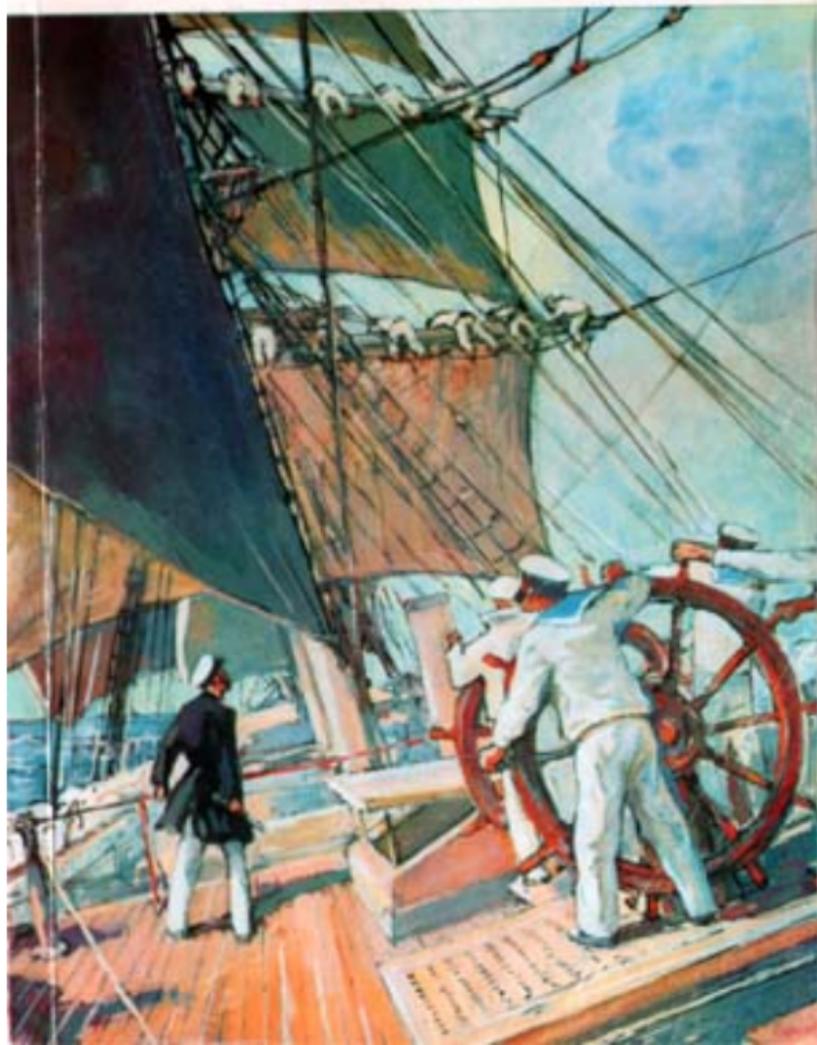


К.М.Станюкович

МОРСКИЕ РАССКАЗЫ



К.М.Станюкович. «Морские рассказы» //Издательство «Художественная литература», Москва, 1986  
FB2: "Ustas ", 2006-07-11, version 1.0  
UUID: 9496BFC3-052C-4258-9981-B67DF801E120  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

**Волк**

(«Морские рассказы»)

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0012
III.....	.0024
IV.....	.0032
V.....	.0041
VI.....	.0046
VII.....	.0050

**Константин Михайлович  
Станюкович  
Волк  
(Из далекого прошлого)**

Однажды, под вечер воскресного дня, баркас с матросами первой вахты пристал к левому борту парусного корвета «Гонец», стоявшего на севастопольском рейде.

В числе возвратившихся с берега пожилой фор-марсовой Лаврентий Чекалкин, носивший кличку «Волка», поднялся со шлюпки озлобленный, мрачный и бледный. Голова его была обмотана тряпицей, пропитанной кровью.

Другой матрос, тоже пожилой фор-марсовой, Антон Руденко, поднялся на палубу, прихрамывая на одну ногу. Вспухшее его лицо было окровавлено. Половина уха была оторвана.

— Это что такое? — сердито спросил старший офицер Петр Петрович старшину баркаса.

— Передрались, ваше благородие.

Быстрый и решительный во всяких случаях, Петр Петрович крикнул боцману Гордеенку:

— Завтра до флага перепороть обоих!

— Есть, ваше благородие! Но...

— Какие там «но»? Я тебе «но» пропишу на морде!

— Слушаю, ваше благородие. Однако дозвольте переждать порку.

— Почему?

— Волк быдто поранен ножом, а Руденко вовсе измят. И ноги, должно быть, перелом.

— Были вдребезги?

— Выпимши, но при полном рассудке, ваше благородие!

Старший офицер изумился.

Оба матроса были исправные и приятели.

— И вдруг так изувечили друг друга? Из-за чего?

— Не могу знать, ваше благородие. Должно, из-за этой самой Феньки, — со снисходительным презрением к женщинам прибавил боцман.

— Какая такая Фенька?..

— Молодая вдовая матроска.

— Ну, так что ж?

— С Волком два года путалась и в один секунд: «Отваливай! Очертел, мол, сразу». Беда какие торопливые есть матроски! — насмеш-

ливо промолвил боцман.

— Так, значит, Руденко не зевал на бра-сах... А Волк приревновал?..

— Не должно... Фенька в Симферополь утекла. Новый город пожелала увидеть. Любопытная, видно! — усмехнувшись, пояснил старый боцман.

— Ничего не понимаю! — воскликнул Петр Петрович.

— Как баба облестит — никакого не выйдет понятия, ваше благородие!

— Тоже нашли — из-за бабы драться! А еще хорошие матросы! Позови-ка их сюда! — приказал Петр Петрович.

Он решительно был изумлен романической историей, и у кого же? «У пожилого умного Волка, казалось, не способного на такие штуки!» — подумал старший офицер, питавший некоторую слабость к лихому марсовому.

Уж очень хорошо он вязал штык-болт на ноке фор-марса-реи и вообще был «отчаянный» в работах матрос... Первый на «Гонце».

И вдруг — скажите пожалуйста!

Через минуту оба матроса подошли на ют,

где стоял старший офицер.

— Так как же, Волк? Обезумел, что ли, под старость?

— Никак нет, ваше благородие! — застенчиво промолвил Волк.

— Хорош: «Никак нет!» Полюбуйтесь оба на себя. Доктор сейчас осмотрит. Нечего сказать: старые петухи! А еще приятели!.. Прежде пьянствовали вместе... А теперь, видно, отстал пить?

— Отстал, ваше благородие...

— Ну, говори, Волк, чтобы мне знать, как вас выдрать после починки. Из-за чего разодрались?

— Так, ваше благородие! Из-за разговора.

— Не ври, Волк... Из-за Феньки?.. Сказывай! Волк молчал.

— Точно так, ваше благородие! С позволения сказать, из-за непутящего ведомства и вышла раздрайка! — проговорил виновато Руденко.

Волк только презрительно взглянул на приятеля.

— И ты, Волк, из-за бабы изувечил Руденку? А эта злая скотина пырнул тебя? Кто за-

чинщик?

— Я, ваше благородие! — безучастно вымолвил Волк.

— А ты, верно, подзадорил его, подлец? Волк зря не начнет! — сердито обратился старший офицер к Руденко.

— Я, ваше благородие, думал, чтобы как следует... Для его старался... Открыть, значит, глаза его хотел... Вижу, Волк здря в тоску вошел. Я и обсказываю: по той, мол, причине Фенька от его сбежала, что не очень-то лестно ей хороводиться с им. Прикидывалась, говорю, быдто обожает... Как пить, в Симферополе тую ж минуту молодого солдата нашла. Лукавая, ваше благородие! Вокруг пальца обводила Волка, а он...

— И Волк за твои подлые слова изувечил тебя, Руденко?

— Точно так, ваше благородие!

— Ты, подлец, как разбойник... ножом? Ну уж и отполирую я тебя, мерзавца!

— Не оборонись я ножом, не жить бы мне, ваше благородие! Освирепел из-за слов Волк. Извольте взглянуть на морду... И ухо... И нога...

— Мало еще тебе. Будешь помнить выволочку... Зачем лез с подлым разговором к Волку?.. Просил он тебя насчет Феньки?.. Говорил, что ли?

— Никак нет, ваше благородие...

«Какой же он привязчивый дурак!» — подумал старший офицер, взглядывая на Волка. И, казалось, теперь понял причину перемены Волка в последнее время.

Волку было стыдно и обидно. То, что скрывал он от всех, стало предметом общего внимания. Главное, о Феньке пойдут разговоры.

— Ступай оба. Доктор осмотрит! — сказал Петр Петрович.

И значительно смягченным тоном прибавил, обращаясь к Волку:

— А ты не тронь больше этого подлеца!

— Есть, ваше благородие!

— Ведь до смерти его изобьешь... У тебя кулак!.. И угодишь в арестанты из-за мерзавца. Помни, Волк.

— Есть, ваше благородие!

И тон голоса Волка, и выражение его лица как будто говорили, что не стоит в арестанты из-за такого человека, который своим под-

лым разговором довел до драки и теперь, как «последний матрос», обсказал причину старшему офицеру.

— И ты, Волк, знаешь... того... Не распускай шкотов... Нечего матросу скучать... Плюнь! — почти ласково промолвил Петр Петрович.

Через полчаса в кают-компанию вошел худощавый и маленький старый врач Никифор Иванович. Обыкновенно веселый и легкомысленный «папильон» 1, он несколько озабоченно сказал старшему офицеру:

— Дело-то «табак», Петр Петрович!

— Больных не любите, так и «табак», Никифор Иваныч? — проговорил, подсмеиваясь, старший офицер.

Он хорошо знал, что этот «мичман», несмотря на его почтенный возраст, не любил лечить больных. Давно уже позабывший медицинские книжки, он всегда весело говорил, что природа свое возьмет, а не то госпиталь есть, если матросу предназначено в «чистую», как Никифор Иванович называл смерть.

По счастью для него и, главное, для матросов, на корвете больных не бывало.

— Да что их любить, Петр Петрович! А Волка нужно бы в госпиталь!

— Разве на корвете нельзя зачинить?

— Все можно, а лучше отправить на берег.

Природа у Волка свое возьмет, и хирург живо обрабатывает. Рана глубокая, под ухо прошла... Перевязку сделал, а теперь пусть дырку чинят в госпитале. Верней-с. Ну, да и я, признаться, давно не занимался хирургией, Петр Петрович!.. И вообще не любитель лекарств! — откровенно признался Никифор Иванович.

— А Руденко что?

— Отлежится... Дня через три с богом порите его, Петр Петрович!

— А нога?

— То-то перелома будто нет. Посмотрю, как завтра... И ловко же его изукрасил Волк! Счастье, что Руденко еще цел! — весело промолвил старенький доктор.

Старший офицер послал вестового сказать на вахте, чтобы подали к борту четверку, и сказал юному, несколько месяцев тому назад произведенному смуглолицему мичману Кирсанову:

— Отвезите, Евгений Николаич, вашего любимца в госпиталь. Да попросите сейчас же его осмотреть и спросите, нет ли опасности.

— Слушаю, Петр Петрович!

— И ведь с чего сбрендил старый дурак! Знаете, Евгений Николаич?

— Знаю, Петр Петрович. Оттого он переменялся в последнее время и тосковал.

— То-то и удивительно... Волк... и... из-за какой-то Феньки!..

— Волк не похож на других... Он по-настоящему любит женщину! — краснея и взволнованно промолвил мичман, словно бы обиженный за удивление старшего офицера.

Мичману было двадцать лет. Ему казалось, что и он «по-настоящему любит», и навеки, конечно, эту «божественную» Веру Владимировну, к сожалению, жену капитана первого ранга Перельгина. Он знаком с нею три месяца, и с первой же встречи влюбился в эту хорошенькую блондинку лет тридцати и таил от всех свою любовь. «Божественная» с ним кокетничала, а он благоговел, по временам тайне желал «кондрашки» толстому, короткошеему капитану, раскаивался и верил, что госпожа Перельгина — пушкинская Татьяна. Недаром же она любила декламировать:

*Но я другому отдана  
И буду век ему верна*

Вымытый, перевязанный и переодетый, с «отсылкой» (бумагой) в госпиталь, вышел Волк на палубу.

Перед тем как Волку спускаться в шлюпку, его окликнул старший офицер и сказал:

— Скорей починись, Волк!

— Есть, ваше благородие!

Вся команда, уже в палубе, пожелала Волку скорей вернуться на корвет.

Он хотел было идти на нос шлюпки, но мичман приказал матросу сесть на сиденье рядом с ним, и четверка отвалила.

Вечер был обаятельный. Звезды загорелись в небе.

Волк задумался.

Это был здоровый, крепкий человек, далеко за сорок, мускулистый, широкоплечий, мешковато одетый, спокойно-уверенный в своей физической силе, привыкший к морю и любивший его, с грубоватым, суровым лицом, с тем выражением искренности, простоты и в то же время какого-то философски-спокойного ума, которым отличаются моряки, много выдавшие видов на своем веку.

Еще недавно его серые глаза светились ра-

достно, и по временам в его серьезном лице появлялась горделиво-торжествующая улыбка счастливого человека. В то время он и бросил пить, вдруг сделался бережлив и стал мягче характером.

Суровый на вид, он обыкновенно редко сердился, и его трудно было разозлить. Только скалил свои крепкие белые зубы и добродушно подсмеивался. Но, когда его охватывал гнев, он напоминал обозленного волка, и все боялись довести матроса до исступления. Знали, что мог избить до смерти, если не удержат силой.

В последнее время Волк сразу изменился. Стал молчалив, угрюм и раздражителен. По временам долго смотрел на море, точно думал какие-то невеселые думы, и глаза его были тоскливые, какими прежде не бывали.

От людей старался скрыть тоску, и матросы, любившие и уважавшие Волка, только дивились, пока не узнали, что его бросила Фенька, безумная «приверженность» к которой была известна на корвете и всех изумляла.

— Чудеса! Вовсе втемяшился Волк! — говорили тихонько на баке.

Но подсмеиваться над ним не смели.

Все знали, что Волк вообще не любил «пакостных» разговоров, как называл он циничные шутки о бабах, обычные на баке, и очень озлился бы за Феньку. Раз он избил до полусмерти одного матроса, сказавшего при нем что-то скверное о ней.

И это хорошо помнили на баке.

Шлюпка повернула с рейда в Корабельную бухту.

Море точно дремало. Кругом было тихо-тихо... Только часовые с блокшивов, на которых жили арестанты, перекликались протяжными «слу-шай!..».

Огоньки мигали в домах слободки.

Волк глядел на огоньки... Еще месяц тому назад Фенька здесь жила...

«Конец!» — подумал Волк, и чувство обиды и боли охватило его, когда он опять вспомнил «скоропалительность» перемены Феньки... Была, кажется, привержена, обещала вернуться из Симферополя и вдруг так «обанкрutiла»...

Слова Руденки жалили его сердце, точно

змея...

— Что, брат Волк... Болит голова? — вдруг участливо спросил мичман.

— Самую малость, ваше благородие!

— Верно, скоро выпишешься...

— Как бог, ваше благородие...

— Экий подлец этот Руденко!.. Уж ему будет!

— И без того... избил... А полегче бы его пороть, ваше благородие!.. Заступились бы, ваше благородие, перед старшим офицером... Зачинщик-то я... Я и виноватый!

— И ты еще заступаешься за подлеца? — воскликнул мичман, тронутый словами Волка.

— А то как же, ваше благородие? Не оборонись он и не ошарашь ножом, пожалуй, быть бы мне убивцем... За это в арестанты.

— Разве убил бы?

— В обезумии человек на все пойдет, ваше благородие, — необыкновенно просто и убежденно сказал Волк.

«Он по-настоящему любит», — снова подумал мичман.

И ему стало обидно, что он не только не

вызвал на дуэль одного лейтенанта, который в кают-компании назвал «божественную» Веру Владимировну «любительницей похождений», но промолчал и теперь даже разговаривает с лейтенантом.

«И какой я подлец в сравнении с Волком!» — мысленно проговорил мичман.

Он несколько минут молчал, чувствуя себя виноватым и восхищенный любовью матроса. И вдруг порывисто и сердечно проговорил, понижая голос до шепота:

— Знаешь что, Волк?

— Что, ваше благородие? — чуть слышно ответил Волк.

— Может, ты захочешь известить Феньку, что ты в госпитале... Так скажи адрес. Я напишу.

— Спасибо, ваше благородие... Не надо!

И при лунном свете лицо Волка показалось угрюмее, когда он еще тише прибавил:

— Не приедет, ваше благородие!..

— Шабаш! — крикнул мичман.

Четверка остановилась у пристани.

Юный мичман приказал гребцам ждать его возвращения и вместе с Волком вышел на

берег.

— Скорей поправься — и на конверт, Лаврентий Авдеич! — горячо проговорил молодой загребной на четверке.

— Спасибо, братцы! Чуть починят башку — на конверт!

Мичман с Волком поднимались в гору. Матрос шел немного сзади, соблюдая дисциплину.

— Иди рядом, Волк! — наконец проговорил Кирсанов.

— Есть, ваше благородие!

И Волк поравнялся с мичманом.

— Отчего, ты думаешь, не приедет?.. Только написать... Навестит.

— Не надо, ваше благородие.

— Недобрая, что ли, она?

— Она?! Руденко все набрехал на нее! — возбужденно проговорил Волк.

— Так отчего же она уехала?.. Ты так привязан к ней. Нарочно зимой на вольную работу ходил, чтобы только...

— Не пытайте, ваше благородие! — перебил матрос.

В его голосе звучала почти что мольба.

Юный мичман сконфузился и смолк.

В госпитале как раз был вечерний осмотр главного доктора, и были все врачи, когда пришел мичман с раненым.

Хирург внимательно осмотрел рану Волка, ковырял ее каким-то инструментом и велел фельдшеру поместить Волка в палату.

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — ответил Волк на ласковое прощание мичмана.

И когда матрос ушел, мичман спросил пожилого рыжевато-го врача:

— Что, доктор, опасна рана?

— Опасна! — умышленно преувеличивая опасность раны, отчеканил резко, с апломбом, рыжий врач, словно бы недовольный недостаточно почтительным тоном профана к жрецу.

— Волк умрет? — испуганно, чуть не со слезами проговорил мичман.

— С чего вы это взяли? Опасна — не значит смертельна! — внезапно смягчаясь, промолвил рыжий врач при виде испуга мичмана за матроса. — Не волнуйтесь, молодой человек... Бог даст, выживет... Здоровый. А странная фа-

милия: Волк...

— Это, доктор, кличка... А фамилия его Чекалкин... Первый матрос у нас на корвете... И какой хороший человек, если бы знали!.. Вы, доктор, почините его! — умоляюще и краснея просил мичман.

— Постараюсь... А вы первый год мичманом? — ласково улыбаясь, промолвил врач.

— Первый... А что?

— Свежестью веет... Приятно смотреть на такого мичмана... Позвольте познакомиться... Зайдите ко мне как-нибудь...

Они назвали фамилии друг другу, и оба, по-видимому, были довольны новым знакомством.

Когда мичман вернулся на корвет и доложил старшему офицеру, что сказал хирург, Петр Петрович поморщился и пошел к капитану доложить о происшествии.

Ввиду серьезности раны капитан недовольно заметил, что придется написать начальнику эскадры рапорт, и прибавил:

— А как Руденко отлежится, дайте ему триста линьков...

— Есть!

— А потом под суд... Законопатят в арестанты... Ножом пырнуть! Мог и убить!

Капитан помолчал и прибавил:

— И как это Волк втемяшился в какую-то там бабенку-с!.. Не первогодок, кажется... Не понимаю-с!

— И я не понимаю... Мог бы понять, что ему сорок шесть, а этой Феньке, говорят, двадцать пять!

— Конечно, возраст основательный... Но... но Волк молодец и ведь не старик же, однако! — с внезапным раздражением крикнул капитан.

И старший офицер спохватился, что дал маху.

Капитану было сорок пять, а его жене — двадцать.

Волк лежал на койке рядом с матросом Бычковым, сломавшим себе ногу при падении с марса-реи фрегата «Проворный».

На третью ночь после поступления в госпиталь Волк не спал. Болела голова, и тревожили тяжелые мысли. Не занятый работой, он вспоминал недавнее время, — и не мог от него оторваться.

И с какою-то мучительной проясненностью проносились перед ним картины счастья. А теперь?

Волк только встряхивал головой, словно отгоняя от себя тоску.

Припоминал, в чем виноват был перед Фенькой, и мучился раскаянием.

«Оттого и бросила!» — объяснял внезапное решение Феньки этот не понимавший женщин матрос. И с тоской любящего сердца, потерявшего навеки Феньку, прошептал:

— Крышка!

— Чего не спишь, Волк? Это насчет чего крышка? — спросил сосед по койке.

Волк не отвечал.

Но ему вдруг захотелось открыться, выкрикнуть кому-нибудь про боль смятенной души, не дающей покоя.

И, сдерживаясь от волнения, проговорил:

— А я, братец ты мой, думаю: не может этого быть, чтобы бабья душа была вроде как беспардонная... Сегодня, к примеру, ты хороший, а завтра — подлый человек, и чтобы духа твоего не было... Такой загвоздки в секунду нет... Видно, другая какая загвоздка...

— Стоит и обмозговывать! Нашел чем заниматься! — ответил Бычков, удивленный, что такой степенный и старый матрос думает о таком несостоящем предмете, как бабья душа, да еще ночью, когда спать надо. Но так как и Бычкову не спалось — нога ныла, — то он тотчас же прибавил: — Всякая баба беспардонная и есть. Но только мало полного нашего понятия о бабе. От нее столько загвоздок, что лучше и не думай, по каким причинам, а бей ее! Оно верней.

Бычков, матрос лет за тридцать, уверенно и убежденно проговорил эти слова и притом без всякого озлобления. Напротив! И в его некрасивом, грубом лице, и в тоне его голоса

было много добродушия.

— За что бить? — спросил Волк.

И в его голову пришла мысль: может, не обескуражила бы его Фенька, если бы он ее бил? Но в ту же минуту мысль эта исчезла. Стал бы он ее бить! Да и Фенька в его глазах была особенная. Тронь только ее!

— А за все, братец ты мой! Такая уж в их природа. И которые лестнее, вовсе беспардонные шельмы! Видал ты вчера мою матроску, Волк? Проведать забегала...

— Видал.

— Так завсегда вертит подолом, стерва! По глазам ейным вижу... И чем глаза ласковей, тем больше облыжности... Значит, уж продаст меня. Заметают, подлая лиса, хвостом... Как, мол, ловчей обмануть законного своего матроса!

Волк жадно слушал. Это суждение Бычкова казалось откровением. И ревнивые подозрения невольно закрадывались в голову Волка.

А Бычков среди тишины палаты, нарушаемой храпом или каким-нибудь словом во сне, вполголоса продолжал:

— Уж сколько я дубасил свою матроску — все загвоздок искал.

— И что же?

— Зря! Только мужчинское свое зло срывал. Бывало, бьешь — клянется... Прибавишь бою — Аришка взвоят и сперва поклянется, а потом зарок даст... «Никогда, мол, не буду... В потемнении рассудка, дескать, закон нарушила... Подлый матрос, мол, слабую матроску облестил... Так — по пути ветром надуло... А я, говорит, тебя только, законного матроса, и обожаю...» И ведь так ублажит, что, по нашей подлости, и поверишь...

— А веры-то нет?

— Верь подлой! Синяки прошли, она опять за свое. Кровь в ей бунтует. Никак не может. Ну, и приверженности ко мне такой нет, чтобы закон Аришке в охотку... Однако — врать нечего — добрая матроска и завсегда уважит... Пойми-ка эту линию, Волк!

Но Волк не понимал, казалось, и возмущенно сказал:

— Подлость одна бить так бабу.

— То-то и я бросил потом Аришку. Вижу, не выучишь. И нет во мне прежней обиды.

Служи, мол, такая-сякая, как обвязанная жена, и мой хлеб жри, и черт с тобой, ежели ты вроде быдто влюбленная... Путайся с другими... Вот, братец ты мой, как я полагаю на счет загвоздок... Плюнь, и шабаш!

Волк был возмущен и молчал.

— А ты, Волк, чего не спишь?.. Какая загвоздка? Или башка болит? С чего это тебя матрос ножом пырнул?..

— Избил его... Не догадайся он ножом, я б его до смерти...

— Пьяный?

— То-то тверезый.

— Так чем же тебя матрос до точки довел?

— А он не будь что ни на есть подлюгой! — взволнованно начал Волк, закипая гневом. — Нечего сказать, открыл свою подлую душу... И ведь нет больше подлости, как обессуживать бабу... Бреши на ее — всякий поверит. А она что с подлецом сделает? Он-то расславит... Пакость на ей и останется. Понимаем ли мы бабу? Нам только чтобы себя потешить... И ты, Бычков, как ее понимаешь?

— Да так и понимаю. На то и дадена баба.

— Разве это правильно, ежели по совести?

Можно, что ли, так форменно жить? Вот ты Аришке считаешься будто мужем. Собаки и есть. По-собачьи и живете... А знаю я одну, так она не такая. Позволит кто-нибудь ее лошматить? Наплюет тебе в рожу, да и от тебя в утек... Горда. Не то, что прочие... Ваши все на обман. А главное, Фенька наотмашь всю причину сказывала. Ничего не боялась.

Голос Волка звучал восторженно.

— Чудно что-то... Так ты из-за этой Феньки...

— А ты как думал?

— Ты, значит, вроде быдто...

Но Волк перебил:

— Не вроде быдто, а форменно привержен. Меня она, может, другим обернула... Тоже и я до Феньки вроде как пес был... А как бог мне счастья послал... Феньку узнал, так прямо-таки под всеми парусами врезамшись на мель... И шабаш... Понять можешь, Бычков?

— Бывает, видно... Втемяшится, быдто как в потемнении рассудка человек...

— Небось не в потемнении, а в полном рассудке... И жизнь пошла другая. Будем мы, мол, по-хорошему... Мною не брезговала, по-

нимала, что Волк душу ей отдаст... И как это... в секунд поворот от меня... Так и сейчас не войду в понятие... В чем загвоздка...

Голос Волка оборвался.

Невыносимая тоска томила его. Прошла минута-другая в молчании.

Наконец Бычков сказал:

— Так, значит, этот самый матрос, которого ты избил...

— Что матрос? — грозно перебил Волк.

Бычков испуганно промолвил:

— Набрехал все про Феньку...

— А ты полагал: она по-собачьи? Сейчас меня обнадежила, а завтра с другим?.. Ты про нее подумай! Даром что ты со сломанной ногой... Нешто не понял, что я обсказал?..

— Так по какой же причине Фенька вдруг тебя обанкрутила?

— По какой причине? — переспросил Волк.

И сам терзающийся непониманием, с какой-то отвагой отчаяния произнес:

— Есть, значит, причина. Из-за моего подлого характера бросила...

Волк смолк.

Ввиду предупреждения Волка, не расспра-

шивал более и Бычков и, разумеется, не смел сказать своего мнения о Феньке.

А Волк чувствовал неодолимую потребность убедить и Бычкова и, главное, себя, что Фенька не беспардонная душа.

И он проговорил:

— Слушай... Я обскажу тебе, какая это матроска... Ты увидишь...

— Обсказывай!

Волк вздохнул и начал.

## IV

— Из-за ей — прямо сказать — свет увидал. А ты как думал, неверный матрос? Небось всякий жизни ищет, а не то чтобы очень рад, когда шкуру твою оббивают, словно она барабанная шкура, а больше как о ей и не смей полагать. По каким таким причинам ты вроде быдто арестант?.. И всего у тебя и радостей, что напился на берегу да пьяный облапил бабу. Что Машка, что Аксюшка — все равно, а потом и айда на корабль. Жди там боя да шлиховки из-за всякой малости, ежели строгость самая что ни на есть форменная. И какой ты ни покорный матрос, и у тебя, может, душа требует отдышки. Чтобы хоть на берегу по-хорошему пожить, узнать привет и ласку. Чтобы настоящая душевная баба, с понятием, и могла понимать, какой я приверженный и доверчивый... И чтобы она не боялась... и безо всякой облыжности... На совесть... Хвостом не верти!.. Да только такой бабы, может, и не встретить во всю жизнь. Только в башке полагаешь да в душе тоскуешь... А то если и ветрел, а она на-

чхала... Отваливай, мол!

— И ты такую бабу ветрел, Волк? — недоверчиво спросил Бычков.

— Такую самую и ветрел. Поздно только по своим годам... Не суждено в рассудке... Привязался, как смола. Тоже обезумел старый матрос. На мертвом якоре оставаться обнадеживал я себя в ослепленности... А вместо того — крышка!.. А все-таки обидно, а сердца против Феньки нет... И в каких смыслах крышка?.. Не все ли равно? А она не виновата... И не забуду, что из-за ейной доброй воли я два года был во всей своей форме человеком. Душу получай, мол, всю. Только бери! И чтобы ей никакой обиды... Понял я с ней, какая приверженность во мне... Бывало, с конверта на берег — так ног под собой не слышу, как бегу в слободку... Одним словом — новый оборот жизни... И пить бросил... Пойми, ведь я кто такой?.. Грубая матрозня и из себя вроде старой швабры. И она... обратила на такого внимание... И ведь я чуть было от судьбы не убежал...

Волк вздохнул и примолк.

«Прост ты, Волк. Поверил бабе. Лучше бы

не встречал эстой Феньки!» — подумал Бычков и спросил, заинтересованный рассказом:

— Ты почему полагаешь?

— А по той самой причине, что не хотел тогда идти к Иванову — боцману с «Костенкина». Беспременно звал приходиться в слободку. Женка, мол, именинница... Пирог и ведро водки.

— Как же не хотел на такое угощение? — удивился Бычков.

— Накануне меня отодрали на «Гонце». С берега вернулся в беспамятном виде. Так я остерегался... Однако отпросился у старшего офицера — и на именины. Ладно. Вошел я это в ихнюю хибарку... Поздоровкался с хозяевами, и как увидал Феньку, словно тую самую ветрел, что давно знал в мыслях... Оконфузился даже и всего только пять шкаликов выпил... Зашабашил. И украдкой взглядываю на матроску... Около нее матрозня. Всякую брехню брешут... Видит — приваживает. Отсмеивается, но очень-то не позволяет... Так и отбреет, ежели уж очень матросы пристают... А мне и обидно... Как она такие собачьи разговоры позволяет?.. «Нехорошо», — думаю. А

сам нет-нет да и взгляну... А из себя белая, чистая лицом и, видно, башковатая. Глаза большие-пребольшие, и взгляд переменчивый... То смеется, то ласковый, то вдруг быдто невеселый... Задумается — и опять встряхнет головой и смеется... Вижу: молода, а тоже, видно, на сердце что-то есть... И что больше взглядываю, то жальчее... И все дивуются, что я не жру винища... И стал тут боцман рассказывать, какой я, мол, отчаянный матрос и какой я пьяница. Не будь пьянства, был бы, мол, давно боцманом.

«Чего ж не пьешь, Волк?» — вдруг кинула Фенька.

Ну, еще больше оконфузился. Ответил: «Не хочу, мол». Пронзительно так посмотрела и улыбнулась. Видно, поняла, что с первого раза ошарашила. И правильно, ошарашила как есть, и стыдно перед ей быть в пьяном виде. А матросы хмелели. И давай к Феньке пуще приставать. «Упоцелуй, мол, вдовая матроска! Тебя не убудет!» Она смеется и грозит в ухо. «Свиньи, говорит, вы невежливые с вдовой». А один унтерцер облапил. Ну, я не стерпел этого охальства. К унтерцеру — да отдернул.

«Никто, говорю, не смей, матросы, обидеть бабу!» Все видят, что не шутю, и в шутку обернули. Однако оставили Феньку. И она взглянула на меня. Вижу — удивилась. А молодой белобрысый марсовой с «Костенкина», бледный и словно командир над ей, говорит: «Хвостом не верти, так и матрос не обидит». — «Ты мне муж, что ли?» — это Фенька в ответ и злая и прескучная стала. Отошел. Воззрился на Феньку, а она и не глядит на марсового.

— Кто ж он для нее был?

— А ты, матрос, не перебивай... Узнаешь, какой это подлец... Хорошо... Фенька еще посидела, пить не пила, а пригубила рюмку да в девятом часу стала с хозяевами прощаться. Уходить, мол, пора — поздно. И со мной попрощалась. «Спасибо, говорит, Волк, что не свинья, как прочие! Буду помнить». И вышла, а с ей белобрысый увязался. Вышел и я следом. «На конверт, говорю, срок». А я на случай около Феньки быть, чтобы не обидел ее этот белобрысый. Мало ли нашего брата подлеца с бабой... да еще с глаза на глаз. В слободке темень... ни зги... И тучи на небе... и ни души... Только часовые с города перекликаются...

Глухая слободка ночью... Небось знаешь, какие подлости там бывают? А глаз у меня зоркий. Вижу, как Фенька с матросом идут в город. А я за ими. И вдруг между ими разговор.

И чем дальше — громче, в расстройку. Слышу, матроска отчекрыжила:

— Больше не согласна... Отваливай!..

А белобрысый вскричал:

— Это как же, подлая? Давно ли говорила, что люб тебе...

— Ну и что ж? Мало ли что говорила и кому говорила... Хочу — люб, хочу — нет. Я в своей воле...

— Так ты так? Думаешь, смеешь?..

— Испугалась, что ли?..

— Видно, другого нашла?

— А хоть бы нашла? Тебе какое дело?.. Я не обязанная...

Тут матрос обругал Феньку последним словом и стал драться. «Подлец... не смей!» — отчаянно крикнула Фенька. А я уже подскочил и давай бить этого подлеца. До смерти бы избил, да Фенька меня в рассудок привела. «Брось!» — говорит. И пошла. А я за ей. Провожу, мол, до людной улицы. Идем — молчим.

Слышу — плачет, тихо, ровно забиженный ребенок... И так мне стало ее жалко, что и не об-сказать. Вышли это мы на Большую улицу, а она во все глаза смотрит на меня... видно, удивленная... И говорит: «А я полагала, что ты заступился из-за своей мужчинской подло-сти... Вижу, ты, Волк, первый матрос, что не надругался надо мной, как над последней тва-рью... Дай тебе бог всего хорошего... Ты, мо-жет, и меня заставил на себя взглянуть, какая я есть...» И так это мне было лестно, что она поняла обо мне. Ведь до какого понятия о мужчинском сословии довели матроску. Нечего сказать, вовсе как звери были с ей. И такая стала она мне родная, такая светлая и так жалко ее, что и не обсказать. Сразу ока-залось, какой она человек. В тую ж минуту сердцем почуял ее смятенную душу, тоску и отчаянность в разговоре с матросами. Быдто и в самом деле беспардонная. А какая она бес-пардонная?! Она обиженная и другой жизни хотела, а не то что... Сразу беспардонность ей-ная прошла, как с ею добром. «Иди, говорит, Волк, на свой конверт, а то опоздаешь и нака-зание из-за меня получишь. И то защитил,

добрый человек!» А у меня и слов нет. Не смею оказать себя и даже спросить не осмеливаюсь, можно ли когда повидать. А она мне: «Может, и захочешь меня проведать когда?» И так, братец ты мой, словно виноватая, тишком проговорила. «Так зайдешь?» — спрашивает. «С полной, говорю, радостью, Федосья... А как по батюшке?» — спрашиваю. «Фенькой зови... Какая я Федосья!» И объяснила, что вроде куфарки у антиллерийской офицерши, и сказала дом. И, прощамшись, кинула: «А ты, Волк, не думай, что я болтала тому матросу... Так, зря, от отчаянности».

Ушел я на Графскую пристань и совсем по-другому быдто понимаю, какая есть на свете жизнь. Нанял ялик — и на конверт. Назавтра выпороли за опоздание на полчаса. Лупцуйте, мол! А я быдто безо всякого внимания. И во все другим стал. И Фенька на уме. Вот поди ж ты! — словно бы оправдываясь, прибавил Волк.

Минута-другая прошла в молчании.

— А что дальше? Сказывай, Волк... И по какой причине раздрайка? Чудна что-то твоя Фенька! — проговорил Бычков.

— Небось не видал такой?

— То-то не видал...

— Так ты слушай и пойми ее беспокойную  
душу...

И Волк продолжал.

— Вскорости пошел к ей. Посидел. Чаем угостила. Балакаем. И такая понятливая ко всему — совсем не бабий в ей рассудок. Стал чаще ходить — сказываю про всякое понятие мое, и о том, как матросу нудно на свете, и как не по правде люди живут, и как обидно простому человеку... Вижу — слушает, не скучает. И простая со мной. А мне — хоть не уходи с кухни... Поняла, значит, что я во все привязамшись, и не гонит... Зовет, а обнадежить себя не решаюсь. Не к рылу, мол. Однако как кампанию кончили, перебрались в казармы поздней осенью, пришел к Феньке и сдерзничал — открылся. «Не обессудь, говорю, за мою приверженность по гроб жизни». И Фенька на это: «Такой не видала, говорит, приверженности, и ты мне люб, — говорит...» Однако в закон не согласилась.

— Отчего?

— По своей гордости... вот отчего... «Не хочу, говорит, быть обвязанной и ни твоей, ни своей воли решиться... И обманывать тебя не стану».

Оставила Фенька место, и наняли мы комнату в слободке. Стала белье стирать. Не хотела, чтобы я один для нее старался... Жалела. И никакой в ей корысти не было... Не льстилась на деньги... И жили мы душа в душу так два года... Заботливая обо мне была — придешь, бывало, с конверта или из караула — точно в раю... И щекотливая была... Не любила, если я приревную... «Ты, говорит, верь моей совести... Не думай, какая прежде я была... Я, говорит, в рассудок пришла. Что было — было. Лучше и не вспоминать. И самой стыдно... И помни: станешь ты мне чужой — скажу. Обидно тебе будет, а правды не скрою...» А я верю Феньке и в полном доверии и изо всех сил стараюсь, чтобы ей было хорошо... Чем-нибудь потешишь. Одно слово, при ей вроде крепостного... И чем дольше, тем сильнее моя приверженность... И опять в закон прошу...

«Подожди», — говорит...

Обнадеживаю я себя и счастьем своему краю не знаю. Только будто обидно, что бог ребенка не дает. Так прошло два года. И стал я замечать, что Фенька нет-нет да и заскучит. И приду, бывало, с конверта — я обсказываю,

что было, — она уж не в охотку слушает. Обнимешь — она чаще отстранять стала. И страшно сделалось. Думаю — не та Фенька и обо мне не заботливая... Подозревать стал — мука одна. Молчу — скрываю; только приду и сердце свое срываю. То куда ходила, то отчего есть не приготовлено, то отчего без дела сидишь. Жду — лаской ответит, простит грубость, догадается, отчего сердце кипит во мне, а она мне: «Ты что с попреками... Я не жена, слава богу... Я сама по себе...» Обвязала голову платком, да и ушла... Вернулась, и глаза заплаканы.

А я сам не свой... В полной расстройке души. Кажется, кожу с себя готов снять, и меня же вроде быдто подлеца поняла... Чтобы попрекать? За что?

— А ты, Волк, оттаскал бы Феньку за косу. Нешто нельзя сказать бабе, чтобы сполняла свое дело?.. — возбужденно проговорил Бычков.

— Феньку да за косу?.. И какой ты, матрос, дурак! Сам-то только и понимаешь, когда тебя по уху...

— Так ты что же?.. Сам же и виниться стал

перед ей?..

— То-то и повинился. И со всей покорностью, глупая башка. Без Феньки мне жизнь — что вроде могилы. Пойми ты, ежели в тебе настоящая душа... Ведь приверженность не сапоги. Снял, и шабаш!..

— Ну, ладно... Обсказывай!.. Тоже и ты, я скажу, чудной!..

— Замирились... Простила... И после говорит: «Незадачливая я... Только тебя мучаю и себя расстраиваю... Ты обо мне лучше полагаешь, чем я есть... Бедный ты мой, бедный Волк!.. Видно, не умею я ценить твою ко мне любовь... Обиженная от бога природой!..» Так прошел месяц... Я, дурак, опять успокоился... Вижу, не брезгает мною... А что-то в ей беспокойное — дума какая-то... Не объясняет... А уж прежней ласковой и веселой Феньки нет... То скучная, то вдруг приникнет ко мне и приласкает... И я рад... Думаю: обойдется... И как-то раз говорит: «Уеду от тебя, Волк, в отлучку на несколько дней... К сродственникам, в Симферополь хочу...» Попрощались. Уехала... Обещала дать весточку, как вдруг через два дня отписала: «Не жди меня больше, Волк. За

все добро и приверженность много благодарна. Но нет во мне прежней любви... Прости, если виновата, за зло и не поминай бесталанную Феньку...»

Волк смолк. Казалось, долгий рассказ не успокоил его. Он по-прежнему не понимал причины этой внезапной перемены и не сомневался, что и Бычков думал о Феньке то, что говорил и Руденко.

Он не верил и отгонял подозрения... Но, когда его глазам мучительно грезилась пригожая Фенька, такая же ласковая и порывистая, в объятиях молодого солдата в Симферополе, в голову Волка невольно закрадывалась мысль, что Фенька — беспардонная душа.

Прошло две недели.

Волк поправился и явился на корвет. Матросы обрадовались Волку. Старший офицер потребовал его в каюту и шутливо спросил:

— Совсем починили тебя?

— Точно так, ваше благородие.

— И больше не «скучишь» из-за бабы?..

Волк смущенно молчал.

— Не стоит, братец... Понял?

— Есть, ваше благородие!

— Особенно в твоих годах. Молодые не очень-то любят пожилых. Слышал об этом?

— Точно так, слышал, ваше благородие, — угрюмо ответил Волк и весь побагровел.

Петр Петрович не сомневался, что утешил матроса, и отпустил его.

А Волк далеко не успокоился и был по-прежнему молчалив и угрюм. И все дивились, что башковатый матрос мог так долго тосковать из-за бабы. Даже мичман Кирсанов, который уже забыл госпожу Перельгину и «по-настоящему любил» госпожу Дышлову,

не с прежним уважением и симпатией смотрел на Волка. Он слышал кое-что о Феньке и теперь считал Волка порядочным дураком. Можно любить по-настоящему хорошую женщину, а не какую-нибудь... Разве можно любить женщину, которая не заслуживает уважения... Вот хоть бы он... Убедился, что госпожа Перельгина далеко не пушкинская Татьяна, и... наказал ее своим забвением... Госпожа Дышлова, та... вполне понимает, что такое настоящая любовь...

И мичман как-то завел разговор с Волком на эту тему, но встретил такой иронически-холодный взгляд матроса, что лишил его своего расположения и больше с ним уже не разговаривал.

«Решительно, он — грубая скотина, не понимает сочувственного человеческого отношения!» — не без некоторой горечи подумал мичман и уже начинал разделять мнение кают-компаний насчет того, что бить и драть матроса обязательно нужно и для службы полезно.

Вскоре «Гонец» пошел в крейсерство к кавказским берегам.

У Анапы быстро разыгрался шторм. Провистали спускать стеныги.

На фор-марсе вышла какая-то заминка. Там был мичман Кирсанов. Был и Волк. Когда после спуска реи все спустились, мачтовый офицер стал ругать Волка. Мичман ни слова не сказал в защиту лихого матроса. Не то не хотел противоречить лейтенанту, не то не принял к сердцу несправедливости. «И то всего обругали! Стоит ли из-за этого вступаться?»

И тем не менее мичману стало неловко, когда он встретил взгляд прежнего своего фаворита. И сколько было в этом взгляде недоумения и укора! Ведь мичман видел, что Волк не виноват...

А ведь он думал, что мичман добер к матросам и справедлив...

«Где же правда на свете?» — подумал Волк и ничего не ответил на ругань лейтенанта.

И в этот штормовой день Волк работал за двоих, и его, как всегда, посылали делать опасное дело. И он казался еще хладнокровнее и угрюмее.

А шторм усиливался. Показалась течь. Откачивали во все помпы. Вода прибывала. Кор-

вет трещал по всем своим старым швам. У матросов закрадывалась мысль о гибели. Только Волк, казалось, был равнодушен.

«На что теперь мне жизнь?» — пробежала в его голове мысль неразрывно с мыслью о Феньке. Но он все-таки наваливался во всю силу на помпу.

К вечеру шторм стал стихать, и «Гонец» вбежал в Анапу.

Когда затихла погода, командир возвратился в Севастополь и вошел в док, чтобы починиться после шторма. «Гонец» порядочно-таки расшатало.

## VII

**В** первое же воскресенье первую вахту отпустили на берег.

И только что Волк вышел на Графскую пристань, как увидал Феньку.

Бледная, исхудавшая, стояла она около него.

— К тебе вернулась, если не забыл Феньку... Небось состарилась?

Волк не находил слов и крепко сжимал своей мозольной, шершавой рукой маленькую руку. Глаза его сияли восторженным счастьем.

— Идем, Фенька... Так не брезгуешь мною?

— Глупый... Я уж две недели тебя жду...

Голос ее звучал лаской. И глаза улыбались.

— И знай... Никого я не знала в Симферополе... И снова к тебе потянуло... Без тебя соскучилась... Больше не буду тебя мучить. Узнала, как тебя из-за меня ранили.

Волк сиял.

Через неделю они повенчались.

Прошел год, и началась война. И Волк на четвертом бастионе часто встречал свою

храбрую матроску, носившую мужу булки, еду и гостинцы, несмотря на то, что пули и ядра свистали над ней. Встречал и, забывая о близости смерти, глядел на нее такими счастливыми глазами, что Фенька только ласково улыбалась, угощая мужа, и расспрашивала о делах бастиона.

Оба уцелели. Ужас войны окончательно сблизил их. Нечего и прибавлять, что Волк по-прежнему был «подвахтенным» у Феньки.

# Примечания

# 1

Мотылек (от фр. le papillon).

[^^^]